

---

## ПОВЕСТЬ

**Тамара Булевич**  
(г. Красноярск)

### ДЕД ИГНАТ



*Булевич Тамара Анатольевна — зам. главного редактора «ПЗ» по сибирским регионам, поэтесса, писатель, член Союза писателей России, член Международного Союза писателей «Новый Современник». Опубликовано книги: сборник стихов «Моя планета», прозы «Медвежий угол», «Фрося-Ефросинья» — эта повесть удостоена в 2008 г. Международной литературной премии с вручением Золотой медали имени Константина Симонова. С циклами стихов, повестями и рассказами стала соавтором 27 коллективных сборников, изданных в Москве, Ванкувере (Канада), Красноярске. Живет в г. Красноярске.*

Напряженный жаркий день иссушил, измучил. Путевые рабочие едва держались на ногах, угрюмо, в полном молчании собирая в брезентовые мешки инструменты и поджидая электричку, которая избавит, наконец-то, от адского труда в глинистой пыли, от липучей мошки, писклявого комарья, нещадно грызущих, неистребимых, не дающих открыть рта.

Игнат Демин запозднил. Сегодня бригада завершала намеченный по станции Снежница текущий ремонт и отсыпку полотна. Завтра сам начальник дорожной службы пути Ефремов будет на приемке. Но Игнат был спокоен: все сделано на совесть. Мужики не подвели, как бывало в первые годы их совместной работы.

От похвал бригадир воздержался. «Завтрашний день покажет, что наработали».

Похоже, приближалась гроза. Во второй декаде августа погода обязательно портилась, это и к бабке не ходи. Ненастье дня на три выбивало из графика. Только тайга радовалась дождю, упиваясь изобильной, еще по-летнему теплой, живительной водичкой, пополняя подземные водоемы и набираясь жизненных сил, чтобы весной вытолкнуть к свету новую зеленую поросль.

Игнат гнилой поры не выносил. Она совпадала с подготовкой закрепленного за бригадой участка к зиме, безжалостно актируя золотое время проливными, непрекращающимися сутками дождями.

«Потом попробуй, наверстай! Руки и спины у людей не железные», — сокрушался он, заранее зная, что последующие дни будут авральными, нервозными и до глубоких сумерек.

Прошло семь весен, как Игнат купил дом в Снежнице. Купил для собственного удобства: работа рядом, не нужно тратить бесценные часы на электрички. Но главной причиной все же послужило то обстоятельство, что здесь о прошлой жизни Игната никто не знал, и легче было начинать жить с чистого листа. Хотя и в родном Минино, его узнала только товарка тещи.

Придя домой, Демин первым делом занес в сени горшки с геранью, которую и так немало потрепал усиливающийся ветер. Обычно герань, лаская взгляд хозяина, рядами стояла на специально сбитом для нее из тесаных листовых досок подмостве. Она подковой окаймляла ухоженный рубленый дом, тревожа и радуя бело-розовым буйством шаровидных соцветий. Тихими заревыми вечерами он подолгу любовался ими, находя душе отраду и успокоение.

Второй дом обустроил в полном соответствии с родовым, Деминским. При живых родителях на широких, белых подоконниках от весны до зимы цвела — полыхала герань. Мама Люба пользовалась ее округлые короновидные, иногда окаймленные бурым кольцом листья при зубной боли. Всегда клала их приправой к дичи и к телятине.

Игнат спустился вниз огорода, где пушистыми зелеными веточками, как крылышками, взмахивали недавно высаженные им, но уже бойко ухватившиеся за дерновую, исконную землю кедрята. На этот «детсад» наткнулся случайно у платформы Рябинино, во время обеденного перерыва, поднявшись на таежный взгорок. Среди вековых в три обхвата сосен и пихт, давно прижилось и кедровое семейство. В густом смолянистом дурмане над головой Игната распластались опахалом лапы кедров, еще не старых, щедро увешанных зреющими зеленовато-бурыми шишками.

«Надо в сентябре прийти сюда, пошишковать», — подумал тогда Игнат и уже направился к пологому откосу, чтобы спуститься вниз к бригаде, когда на открытом всем ветрам месте обнаружил с десяток годовалых кедрят. «Вот куда вас занесло! Тут с северной стороны вам не выжить».

Спустившись к мужикам, попросил помочь ему выкопать и доставить кедровый «выводок» — малолетнее чудо — в его огород. Всех до единого. Городские мужики удивлялись его нескрываемой радости спасителя.

— Живешь в тайге и тайгу на огороде разводишь. Зачем тебе это?

Игнат добродушно улыбался, отшучивался.

— Ленив стал далеко в кедровники ходить. Старею. Глядишь, доживу до их зрелости. Орешек соберу и вас угощу. Кедр в людской заботе и ласке быстрее обычного растут...

Мужики недоуменно пожимали плечами.

К ночи непогодь черной мглой нависла над горами, тайгой и поселком. Небо напоминало крутящийся калейдоскоп с мрачными, не предвещающими ничего хорошего картинками. Вдруг оно вскипело и порвалось на мелкие сизые лоскутки, которые неистово металось от горизонта к зениту и обратно, уплотняясь в многослойный на полнеба пирог. И в то же мгновение отягощенный, почерневший изнутри, пирог взорвался, клокоча и распадаясь на светящиеся огненными разрядами тяжелые тучи. Одна за другой, они падали вниз, образуя над землей свинцовое, мечущееся в разные стороны воздушное месиво. Казалось, вот-вот небо проткнется очередным копьём молнии, разверзнется спасительными водами, и сразу же снимется напряжение, яростное противостояние непримиримых небесных стихий.

Более месяца над Снежницей властвовал зной. И теперь небо, припомнив давно забытые земле-матушке обещания, решило помочь ей: залить изнуряющее и жгучее лето, заслонить собою от пышущего жаром солнца.

Игната беспокоило завалившееся весной дерево — сушняк, прозванное им веду-

ном. Оно повисло на сосне у забора, крепко зацепившись верхними сучьями, как крюками, за ее мощные ветки. В безветренные дни дерево сохраняло полное безмолвие, но чуть всколыхнется порывом легкого ветерка сосна, и ведун начинал выводить свою грустную песню, напоминающую то скрип несмазанной двери, то рык зверя, то вскрик лопнувшей струны. Иногда предупредительно и четко выговаривало: «Не подходи!» Но чаще всего громко насвистывало соловьиные разбойничьи напевы. А то вдруг тревожно вскрикивало незнакомым голосом испуганной птицы.

Игнат научился «расшифровывать» загадочную музыку ведуна, который точнее метеослужбы предсказывал направление ветра, погоду на предстоящий день. При работе на путях это очень помогало: он знал, откуда дует ветер, с какой стороны выставить сигнальщика, куда лучше высыпать щебенку, чтобы меньше мужикам глотать известняка.

Сейчас же Игнат вслушивался в громкий плач и воюющие, протяжные всхлипывания ведуна, что-то прикидывал, высчитывал в уме, явно боясь за кедрят: свалится мертвое дерево на них, заломает, подомнет. Но одному ему было сложно что-либо предпринять.

«Все недосуг, безголовому, сушняк распилить на чурки под опята! Загублю кедрят!» И, едва не падая под тяжестью, волоком притянул из сарая поочередно три спиленных двухметровых рельса. Прислонил их к забору. «Так-то надежнее. Примут удар на себя, если случаем ведун завалится».

Еще раз осмотрев огородное хозяйство и убедившись в его полной готовности выстоять надвигающуюся бурю, он медленно, прихрамывая, направился в дом.

Не включая света, не ужиная, прошел в душевую. Там долго фырчал, постанывал от удовольствия и плескался в ниспадающем потоке прохладных бодрящих струй. После часового купания, завернувшись в цветастую льняную простыню, лег в кровать.

Несмотря на усталость, Игнат долго не мог заснуть. Со своей привычкой, едва коснувшись подушки, и до первых рассветных всполохов утопать в Морфеевых объятиях, он расстался, когда перевалило за пятьдесят. Бывало, бессонными ночами успевал прожить не одну жизнь, всякий раз перекраивая их по-новому и снова не удовлетворяясь ими. Ничего не менял только в солнечном детстве. Там все устраивало. Это было счастливое, безоблачное мгновение его жизни с живыми родителями, ночевками со старшими ребятами у таежных костров на берегу горной речушки Минки, пробуждением под ласковыми щекотаниями зари, тихим и безмолвным подъемом, чтобы — не дай Бог! — не вспугнуть, не насторожить хитроумных, чернобоких хариусов.

Мальчишкой любил подолгу глядеть на далекие мерцающие звезды, следить за облаками и в грозу, надежно спрятавшись от дождя под непромокаемыми лапами пихты, наблюдать за столкновением туч и рождением молний. В селе знали, что их Игнат, когда вырастет, обязательно станет летчиком.

Но грянула война. Мечты в одночасье рухнули.

Большая семья Григория Демина жила в старом просторном пятистенке, доставшемся по наследству от деда Семена. С южной стороны его, в сторону речки и леса, тремя террасами спускался обширный огород.

Лучи восходящего солнца ласкали высокое крыльцо с резными и точеными перилами да мощеную камнем дорожку, упирающуюся в литую из чугуна калитку. Она разделяла подворье на две половины.

На его чистой стороне, как звал дед, в пяти метрах от ворот, размещалась отцова кузня. До войны он выполнял мелкие заказы для нужд станции и селян. Старая, замшелая пихтушка, распластавшая нижние ветки по земле, отделяла кузню от бани. А сразу за той, до самого забора вдоль метров на сто тянулась некопаная, исконная земля, на которой просторно кудрявились три щедро плодящих кедра, помнивших тепло рук и прапрадеда Порфирия. За ними бойко нарастали разновозрастные, шуст-

рые кедрята. А вперемешку с ними росли сибирские, необыкновенной красоты березы, своими тонкими, белоснежными стволами и кружевной кроной уносящиеся далеко в поднебесье.

На другой половине усадьбы в сараях содержался домашний скот и птица. Расписным теремком возвышался амбар для муки и зерна. А за ним в ряд — сеновал с конюшней для двух лошадей. Здесь же под высоким навесом стояли рабочие сани и для деловых выездов бричка, украшенная литьем и витой кожей.

Этот отчий уголок Игнат Демин свято пронесет в памяти сердца по всей жизни, мысленно прикасаясь к нему, своему истоку, набираясь ума и сил.

Война забрала у Игната старших братьев Алексея и Антона, сестру Марию, которых он почти не помнил и узнавал только по фотографиям на стенах. Они белозубо улыбались, присматривали за ним, когда он, еще дошкольник, оставался дома один.

Отец вернулся с войны больной, с открытой, незаживающей раной на груди. В бане маленький Игнат видел, как у отца из раны струйкой по животу стекала кровь. Мама Люба, хорошо знавшая таежные лечебные травы, ничем помочь не смогла, а в городскую больницу на лечение и перевязки он съездил всего три раза. «Что бестолку-то мотаться туды-сюды! Откуда деньги брать?»

Григория не стало в канун лета, когда Игнат перешел в шестой класс. Люба тяжело пережила его смерть, обессилила, и, словно вырванный с корнем цветок, сникла.

Так черным крылом смерти война достала и ее, казалось бы, в далеком сибирском тылу. Потеряв троих детей, мужа, она уже не находила в себе силы жить. Тоска и горе душили ее.

— Виновата перед тобой, Игнатушка, сынок мой любимый, ох, виновата! Зачем было рожать, чтобы потом обречь кровинку свою на горькую сиротскую долю?! А что не жилища я, так не жилища. Сердцем чую, долго не протяну.

Игнат в это время растирал аптечной настойкой ее постоянно остывающие ноги. Ему очень хотелось, чтобы мать осилила болезнь, поскорее поздоровела. Он жалел ее и не допускал мысли, что она может оставить его...

— Мама, ты обязательно поправишься! Поправишься! Попьешь, поешь...

Не раз, искренне, с мальчишеской горячностью и верой произносил Игнат эти слова, считая их самым лучшим лекарством.

Но иногда и сам, видя ее состояние, начинал плакать навзрыд, скуля и завывая. Совсем как щенок. По вечерам пытался что-то сочинять для нее, на его взгляд, очень смешное. Фантазировал, мечтал, как выучится на летчика и обязательно прокатит мамулю с ветерком по синему небосклону, чтобы у нее от радости и страха аж дух захватывало!

Бывало, по ночам мать плакала и не могла заснуть. Тогда Игнат придумывал одну за другой смешные мальчишеские небылицы. Он сделал бы для мамы все невозможное, только бы утихли ее боли, и она заулыбалась, как прежде.

— Разве мы одни осиротели?! Нам в школе сказали, что тридцать мининских мужиков осталось в живых, а уходило на войну сто двадцать два. Если из-за фашистов в могилы все хорошие люди лягут, не слишком ли жирно будет фрицам?! Так одни нелюди и останутся на земле. Зачем тогда было с ними воевать братьям и папке? Они же победили! И ты победи!

Как мог, взывал сын к матери, возвращал ее к жизни. Но не смирившееся с утратами и вдовьей участью Любино сердце продолжало страдать и рваться. Она чахла, медленно умирая и давая Игнату один наказ за другим.

Вскоре Игнат остался круглым сиротой, один-одинешенек, без пригляда и опоры. От детдома наотрез отказался. И в этом его поддержали сельсовет, школа, соседи: парнишка охотно учился, при больной матери сам хозяйничал по дому, не баловал.

В четырнадцать лет Игнат обогнал ростом всех станционных сверстников и выглядел вполне взрослым. Селяне говорили: «В отца-богатыря уродился и ростом, и внешностью».

Окончив семь классов, он поступил вместо Омского летного военного училища в железнодорожный техникум. «А на кого дом-то отцов бросишь?!»

Сын исполнил материнский наказ. Этот-то исполнил, но если бы все так...

К полуночи над Снежницей поднялся сильный ветер. В неистовом буйстве столкнулись вечные соперники — ветер и вода. Их нешуточная схватка за властное обладание красавицей Землей с переменным перевесом сил затянулась до утра. Мощные, ревушие и стонущие порывы «саянца», казалось, отрывали и поднимали вверх тяжелый Игнатов дом. Он отчаянно скрипел углами, дверными навесами, стучал, бил в набат скобами и штырями просмоленных ставен. Неистово грохотала задыжками печная труба, и протяжно завывал камин.

Но уже спустя мгновение, ветер внезапно затихал, и было слышно, как свирепо и неистово обрушивались на землю ливневые воды, грозя смыть с нее все живое и неживое и утопить в грязевом потоке.

Игнат беспрестанно взбивал подушку, будто она была виновницей его бессонницы. Даже думать ни о чем не мог. Ворочался с боку на бок, томился, вслушивался в грохочущую над его головой грозовую бурю, ожидая чего-то еще более страшного и непоправимого.

И только предрассветное светлеющее небо утихомирило ее.

Игнат открыл ставни, распахнул окна. Дом наполнился свежестью и ароматами отмытого до иголочки бора, подпирающего поднебесье мощными верхушками хвояков.

Предзоровая дымчато-лиловая тишина повисла над тайгой.

Наспех набросив на плечи казенный брезентовый плащ, Игнат прытко помчался в огород. На нижних лапах пихты, красующейся посреди картошки, нахохлившись, сушил перышки летний выводок из четырех мородунок, по-местному — куведренников. Обычно верткие, живые, доверчивые и любопытные, сегодня при приближении Игната они после тяжелой ночи и голоса не подали. Их мокрые буровато-серые с темными пестринами одежды слиплись в комок. Белые брюшки почернели. Видимо, держались, бедолаги, коготками за землю у самого у ствола, чтобы не быть унесенными бешеной ночной бурей. Родителей с ними рядом не было. Но вскоре послышалось их далекое «куведрюю — куведрюю».

«Не пройдет и месяца, как кулики помашут мне крылышками до следующей весны», — подумал Игнат и заспешил к кедрятам.

Те издали весело подмигивали ему брильянтовыми капельками затаившегося на их длинных хвоинках дождя. «Слава Богу! Живы мои пострелята!».

Бессонное настроение мигом улетучилось, а тело наполнилось прежней упругостью, здоровым желанием незамедлительно насытиться нехитрой деревенской едой.

И последующие события дня сложились для Демина удачно. Можно сказать, заладились. Начальство похвалило бригаду за «добротный, профессиональный, ремонт», пообещало выдать премию и предоставить отгулы. За лето их у «деминцев» накопилось более двух недель.

Игнат после отъезда комиссии продолжал, сам не зная, отчего, улыбаться. Душа чему-то тихо радовалась. Хвалил мужиков за толковую, в «один кулак» работу, что делал крайне редко.

Вечером затеял уборку. Ценил порядок и, не ленясь, наводил, поддерживал его. Крашенных полов не любил. Раз в год шлифовал половицы, а потом мыл их до янтарной чистоты зольной водой. Они светились, дышали теплом и уютom. В обуви по ним не ходил, и гостям велел разуваться в сенях.

Он домывал последнюю ступеньку крыльца, когда стукнула щеколда калитки. На вымощенной дорожке стояла почтальонка Нюся. «Чего ее принесло-то?!»

Лицо Игната отразило крайнюю внутреннюю раздраженность и досаду. Благодарный настрой вмиг улетучился.

— Доброго вечера, Игнат Григорьевич!

— Доброго, доброго...

Не очень-то приветливо отозвался он. Нюся робко приблизилась к крыльцу. Игнат, не торопясь, отжал половую тряпку и аккуратно повесил ее на крюк для просушки. Нюся протянула ему неопрятную руку, но он сделал вид, что не заметил ее и сухо спросил:

— С чем пожаловала почта?

Нюся открыла подбитую с изнанки чертовой кожей холщевую, давно не стираемую сумку и прошуршала какими-то бумагами.

— Да куда она завалилась, проклятушая!

— Что потеряла-то?

Он вовсе не ожидал, что Нюся действительно принесла ему какое-то известие. Родных никого в живых не осталось, с друзьями по службе и бамовцами обменивался поздравительными открытками на День флота да под Новый год.

— Так зачем, спрашиваю, пришла?!

Возмущенно и громко почти прокричал Игнат, подойдя к Нюсе вплотную и готовясь, как в прошлые разы, выставить ее вон.

— Фу, Нюся! От тебя, как от бомжа, несет денатуратом!

— А тебе-то что?! Святого из себя корчишь! Чем ты лучше меня?

— Твоя правда, Нюся! Мы были с тобой грязью одной канавы. Теперь между нами — разница. Я из нее не сразу, но все-таки выполз, выкарабкался. Отмывался и буду отмываться! А ты гляди, не утони по уши! Хотя, не мне судить тебя...

Игнат замолчал, и Нюся тут же гонористо, злобливо подхватила их невеселую беседу.

— И я об том же! Чай, не жена, не любовница, чтобы смел повышать на меня голос.

— Да не доведи Господи! Был же дурачиной! — отмежевался от нее крестом Игнат.

— Стало быть, помнишь, дружок милый, наше золотое времечко! Ты мной и пьяной не брезговал.

Игнат заскрипел зубами, лицо залилось краской:

— Кого помню, это не твоя печаль! Ты хоть при службе воздерживалась бы от спотыкача — подзаборника! Ненароком казенную сумку потеряешь или на бутылек махнешься, не глядя.

— Так чо воздерживаться-то? Вредны они, воздержания-то, от умных людей слыхивала. Да и вечер на дворе. Не в кабинете народ принимаю. На свежем воздухе себя прогуливаю. Вчерась, как дурочка, за тобой по селу гонялась! У дежурной на станции о твоём пребывании спрашивала.

— А что мне там делать?

— И домой два раза бегала. Закрыто. Больно нужно, ходить потемну к лесу самому! Государство за мои труды копейки платит, на обувку не хватает. Эта уж изодралась до дыр. Как видишь, лодыря не гоняю. На двух станциях, в Милино и Снежнице, два раза в неделю почту разношу. А улицы-то! Не асфальт городской.

И, помолчав, сменила гнев на милость. Ее землистое, морщинистое лицо расплылось в пьяной улыбке:

— По старой любви к тебе мотаюсь, изменщик проклятый! Живешь-то у лешего на рогах!

Она выложила на гераневый подмосток содержимое сумки и принялась нервно вытряхивать газеты, перебирать свертки и письма.

— Ты из меня слезу не дави, не выжмешь! А что до денег! На обувку ей не хватает! Брось пьянки — гулянки, поищи место поденжнее. Не на два дня в неделю.

Зная Нюсю, Игнат и рубля не дал бы ей из сочувствия или жалости: сей же час проплет с собутыльниками, а тем более не собирался объясняться по поводу задержек с работы.

— Вот еще одна дурочка с переулочка покурлесить с тобой хочет. Зовет приехать к ней. Слушай! Вот это да! Как же я раньше не допетрила. Это ж твоя любезная женушка отыскалась! Так по ней, горемычный, сох, что, исстрадавшись, со мной да еще с десятком сучек бездомных шашни водил, кобелина несусветный!

Зло и больно кусала Игната Нюся.

— Чего мелешь-то, чокнутая!

— А ничего!

Его уже начало трясти, предательски дергалось веко от общения с ненавистой женщиной.

— Дак, вот же она, зараза! В пачку газет воткнулась! Срочная, с уведомлением! Не захочешь, да вручишь!

Игнат в нетерпении хотел выхватить телеграмму из грязных Нюсиных рук.

— Не хватай! Не баба! Прежде в журнале распишись, такая у нас формалистика, понимаешь ли.

Он поставил подпись напротив своей фамилии и стал читать, ничего толком не видя и не соображая.

— Ну, чо, Игнат Григорьевич, я пошла?

Замерла в ожидании благодарности Нюся.

— Иди, иди! Небось, заждались тебя дружки твои.

И, взяв под руки словно вросшую в землю Нюсю, выставил бывшую подружку за калитку. Потом спешно поднялся в дом, помыл с мылом руки, достал с книжной полки очки и хорошенько протер их. Читал почти по буквам:

«Адрес: Станция Снежница Красноярского края.

Кому: Демину Игнату Григорьевичу.

Служебные отметки: Срочная! С уточнением улицы и дома проживания адресата».

А далее следовал текст: «Жду тебя по адресу город Новосибирск зпт улица Пролетарская зпт дом 9 зпт квартира 17 тчк О выезде дай телеграмму тчк Встретим тчк Демина Полина Егоровна».

В голове у Игната зашумело, как вешняя вода на порогах речки Минки, щеки зажгло пуще парной, а от стука сердца рубашка на груди ходуном ходила. «Так и Кондратий хватит!» И, взяв из шкафа недопитую с майских праздников бутылку водки, налил до краев граненый стакан, залпом выпил.

Давненько такого себе не позволял. В Снежнице пьяным его никто не видел. Хмелея, плакал и читал, вновь плакал и вновь читал напечатанные телеграфным аппаратом строчки, не веря глазам своим.

«Во, как крутит меня судьба — кручина! Кидает из омота в полымя, непутевого. Через год шестьдесят стукнет, а придется еще, чую, по судам помотаться. «Встретим». Стало быть, понадобился моей Полине развод. Приспичило! А что! И ей, праведнице, в счастье, хоть на старости лет, пожить охота. Права Нюся. Подлюка я, подлюка! Настрадалась со мной Полошшка, душа невинная. Стыда, грязи да людских пересудов нахлебалась досыта. С первого года замужества получала от меня добра ложки, а дерьма дрожки. Переживания Поли, слезы ее мимо совести пропускал. Да и была ли она во мне, совесть-то? У жены на виду мог флиртовать с такими вот Нюсями, Люсями. Забыл, гаденыш, материн наказ: «Подавься одним яблочком!» В святой смысл не вдумы-

вался. Где там! Пришлось бы самому себе на хвост наступить. Вот и добегался с пестиком по тычинкам: голубу свою потерял. Теперь, видать, навеки».

...В далекие годы молодости, после службы на флоте, поработал бравый да пригожий Игнат Демин еще и матросом на рыбном плавзаводе. Скопил немало денег и вернулся в родное Минино тузом козырным. Налюбоваться на себя не мог. Как же! Первый парень на селе. И пошло-поехало! Сколько девок попортил, доброе имя им замарал. Никак в толк не брал, что доведет его ухарская дорожка до срамного тупика. Так и случилось! Сельчане стали судачить об его «подвигах» и непристойном поведении.

— Что с парнем стряслось? Смирный да работающий был. Летчиком мечтал стать, нас подвигами прославить. А прославил чем?! Ох, кабы, отец его увидал! Голу задницу при всем честном народе кнутищем исполосовал бы!

Но Игнат продолжал из одной бабьей постели в другую перелетать и долетался. Чуть свою потерять — дело нехитрое, быстрое. Да вернуть ее не скоро удастся.

Через год из завидного жениха в кутежника превратился. О работе по железнодорожной профессии и надеяться не приходилось. Там люди строгих правил нужны. Две сберкнижки извел на пустые забавы. Деньги, они — вода в дырявых руках. Меж пальцев быстро утекло и отцом нажитое, и свое, заработанное на море добро. Друзей да подружек по гульбищам сразу поубавилось: самому жить стало не на что.

Бывшие соседи, люди степенные, из уважения к памяти родителей приютили Игната в своем доме. Но и им скоро надоело по утрам двери ему открывать.

Как-то за завтраком хозяйка завела с ним разговор о женитьбе.

— Не обижайся, Игнат. Уж вдоволь вроде нагулялся, пришло время прибиться к одному причалу. Своим углом обзавестись, семьей. Не мальчик! И, если советом не побрезгуешь, приглядишься к внучатой племяннице мужа, Полине Неверовой. Девушка видная, ученая, ничем не балована. Работает фельдшером в медпункте, живет одна. Дом Поле достался по наследству от отцовской матери, бабушки Степаниды, умершей недавно от глубокой старости. Полина-то врачом хочет стать.

— А что за люди, Неверовы?— с легкой грустинкой в голосе поинтересовался Игнат.

В разговор вступил хозяин Михаил Иванович, двоюродный брат Егора Неверова.

— От века плотницких дел мастера. Дома строили — любо-дорого посмотреть, что изнутри, что снаружи. Картина маслом! Если не хочешь идти по своей путевой профессии, попросись к Егору в бригаду. При желании многому обучит. Умелые руки да усердие помогут тебе заработать хорошие деньги. Обзаведешься хозяйством, машину купишь. Спрос на толковых плотников всегда велик, сам понимаешь. А то, как погляжу, за минувший год сбережения за отцов-то дом точно в пивном баре угрохал. Нехорошо это, нехорошо.

Михаил Иванович крякнул, покраснел до испарины и, промокнув вспотевший лоб рукавом фланелевой рубахи, не допив чай, вышел во двор.

Игнат, к сожалению, понял одно: надо искать другое жилье и попросился на квартиру к буфетчице Евдокие Мурзиной. С устройством на работу не торопился.

Овдовевшая весной Дуся по убитому в Чечне мужу, офицеру-десантнику, траура не соблюдала. Новому постояльцу была очень даже рада. Угождала во всем. Поила, кормила. Дело дошло и до совместной постели. Жить бы да жить при Дусе припеваючи, только ее старшая дочка воспротивилась, из-за Игната устроила с матерью ссору. И даже драку!

Кричала на все село, что повесится, если та не прекратит устраивать в доме притон. А Демина так огрела чашкой по голове, что лицо его залилось кровью. Пришлось идти в медпункт.

При заполнении карточки пришлось сознаться: и жить негде, и с работой вопрос не решается. Впервые, глядя в глаза худенькой, обаятельной и голубоглазой фельдшернице Полине Егоровне Неверовой, ему стало стыдно за себя, двухметрового лоботряса.

Выйдя с перевязанной головой из медпункта, Игнат направился тогда к Михаилу Неверовым и попросился пожить еще несколько дней, пока подыщет подходящее жилье. Вечером они отправились к брату поговорить о работе.

Михаил Иванович чин-чином отрекомендовал постояльца. Конечно же, авансом! В надежде, что беспутно проведенный год послужит тому уроком.

Оказалось, Егор Ефимович хорошо знал родителей Игната и с радостью принял его в бригаду подсобным рабочим. Узнав, что Игнату негде жить, предложил комнату с отдельным входом в своем доме. Бесплатно. Им вдвоем с женой Галиной Петровной и трех комнат достаточно.

По всему было видно, Игнат показался Егору Ефимовичу, который пригласил хозяйку, познакомил и твердым голосом наказал:

— Прошу любить и жаловать. Относись к нему, как родному сыну.

Проснувшись наутро после получения телеграммы, Игнат заспешил на перегон. Выдав бригаде задания на неделю, поехал электричкой к начальнику с заявлением на использование отгулов «по срочным семейным обстоятельствам». В подробности личной жизни Игнат его не посвящал, обронил вскользь, что надо забрать жену из Новосибирска. А тот благодарил за работу, лукаво улыбался и намекал «на скорое вручение именитому бригадиру высокой награды».

— На собрании чтоб был с супругой!

Дождь провожал Игната до вагона. И потом порывисто стучался, бился в окно купе быстрыми, косыми брызгами.

«Когда теперь мои мужики займутся делом, одному Богу известно. Завалим график к едрене-фене!».

Он поставил в рундук подаренную бригадой на день рождения небольшую дорожную сумку, из настоящей кожи, с множеством накладных карманов и блестящих замков. Аккуратно повесил на плечики промокший до нитки новый светлый плащ и стал выкладывать на столик малосольные огурчики собственного приготовления и пирожки с капустой из вокзального буфета. Достал и завернутые им в фольгу вяленую грудинку с копчеными крылышками курицы. В поездках любил плотно, вкусно поесть и не отказывал себе в этом. В дверь постучали.

— Входите! Что стучаться-то! Не дома, ведь.

В купе вошла промокшая до неузнаваемости и синевы соседка Таня Скурыдина. Игнат вскочил ей навстречу.

— Вот радость-то! В селе недосуг повидаться и поговорить по-человечески, так случай в дороге свел. Скидывай скорее мокрые тряпки, а не то простудишься. Я выйду пока, и готовься к ужину.

— Сейчас, Игнат Григорьевич! Сбегаю в тамбур, бабуле помашу. Отец с мамой в смене. И ей не велела приезжать. Так нет же! Послушалась! Как теперь доберется обратно по такой непогоде! Не простудилась бы.

Поезд медленно оттолкнулся от перрона, и девушка вернулась в купе.

— Ну, и дождина! Льет без устали день-деньской. Полные кеды воды. А джинсы, хоть выжимай. И зонтик не помог.

Игнат направился к проводнице за горячим чаем.

— Мне не до чаев еще! Надо билеты собрать, постели разнести. Не успели от во-

кзала отъехать, а уж чай подавай им! — откликнулась из своего закутка недовольная хозяйка вагона.

— Куда мы сбежим-то! А билеты при посадке начто проверяла?! И постели подождут, не ночь, — укоризненно покачал он седой чуприной. — Озябшим людям согреться помочь да вещи посушить — вот это срочно, это по-людски! Чем они виноваты, что на стихию управы нет. Ты лучше не ворчи, а поспешай в купе со своими услугами. Пассажиры спасибо скажут, и тебе прибыльно, — улыбнулся неожиданно. — Гляди, наступчу твоей начальнице Ларисе Ивановне. На пенсию ее никак не отпускают. Умница! И добрейшей души человек. А мы с ней когда-то техникум оканчивали.

— Да-а-а?

— А то!

Проводница подобрела, загремела подстаканниками. По вагону разлился аромат настоящего индийского чая.

— В седьмое принесешь четыре стакана. И с двойным сахаром! Печенье не забудь!

Настроение у Игната заметно улучшилось, и он заторопился в купе.

— Так-то оно здоровее будет, — одобрительно отметил Игнат, увидев Таню в длинном махровом халате и войлочных домашних тапочках.

— Что, Танюш, так рано в институт торопишься?

— Решила до начала семестра поискать работу. Впереди госэкзамены, и прощай, студенчество. Радоваться бы, а тревоги больше, чем радости. Теперь до нас никому никакого дела. Не распределяют, не приглашают. Совсем не так, как было раньше. Вроде, и все врачи не нужны. Взвалили учебу непосильной ношей на родительские плечи. Спасибо отцу с матерью да бабуле Фисе. Не быть бы мне врачом. А когда получу диплом, опять беда. Надо умудриться место по специальности найти, чтобы копейки получать...

Задумчивое, погрустневшее Танино лицо изменилось, повзрослело. Игнату тут же передался минорный настрой ее души.

— Нет радетея за многотерпимый народ наш, нет! В мои годы, если было стремление и мозгов хватало — учись! А нынешние господа-демократы рогами в кошельки народные уперлись. Дырявлют, тянут из них, как могут. И добро народное не под нас, под себя гребут. От молодежи, поросли земли нашей, отделились. Мол, живите и растите, как придется — можетя!

Делился наболевшим возмущенный Игнат.

Не хотелось ему талдычить с Таней беседу на эту тему, сто раз переговоренную с мужиками. Надо ли девчонке эту боль слушать? А не мог молчать. В бригаде только Перебежкин и был всем доволен. А что ему горевать! Сын в богатенькие выбился. Беззащитную тайгу-матушку нещадно и безнаказанно который год рубит. Строевой лес вагонами за кордоны гонит. У Перебежкиных о завтрашнем душа не болит! Нагребут богатства немерено и сбегут куда подале. И нет им ни стыда, ни суда. А лес наш гибнет. Сосновый да кедровый подлесок, чуть подросший, колесами да гусеницами заминается. Будто, добро лесное не для всех нас веками накапливалось, а для одних Перебежкиных.

В купе вошла проводница и принесла поднос с чаем.

— Ну, спасибо, хозяйюшка. Ко времени угодила. Сейчас с Танюшей ужинать будем. Садись и ты за компанию, коль не побрезгуешь.

Галя зарделась веселым румянцем.

— Нет уж, кушайте без меня на здоровье. Я привыкла чаевничать ближе к ночи, как управлюсь. Хозяйство всего — ничего, а хлопотно.

Татьяна достала к ужину плотно укутанную бабой Фисой кастрюльку с молодой

картошкой. Желтенькая, кругленькая картошечка душисто дымилась, освободившись из под сберегаемых ее тепло одежек. Игнат тоже придвинулся поближе к столу.

— Давно дома гостишь? С родителями и Анфисой Митрофановной изредка пере-говариваемся через огород, а тебя с весны не видел.

— Проходила специализацию в клинике областной.

— Вон оно что! Это дело нужное...

— Но успела до дождей погрибовать да поягодничать с бабулей!— радостно до-ложила Таня. Исконно снежнички слова! Игнат за семь лет, прожитых здесь, при-вык к местному говору и находил в нем особую сочность и точность обозначенного им предмета или действия. Они доставляли его слуху приятную отраду.

— Это хорошо, что родной дом не забываешь! Не отгораживаешься от села, как иные, образованность да занятость. Чувырлиным языком душу не засоряешь. Умни-ца! А то, послушаешь, хоть на автобусной остановке, хоть в кафе каком — уши вянут от мата! Будто, ничему не учили в семье и школе. Дикари! Двух слов без мата не свяжут. Я — работяга, не пайныка, но мата стыжусь. И в бригаде — строго-настрога. Запретил этой нечистью оскверняться. Поначалу, помню, даже бузили. Теперь уж семь лет на путях вместе. Маты не гнут. Иногда у кого изо рта и выскочит лешак, так тут же извиняется, мол, нечаянно.

Татьяне особенно пришились по вкусу куриные крылышки. Шоколадного цвета, вымоченные перед копчением в соевом соусе с медом. Вкуснотища!

— Ешь, ешь, Танюша! Я их целый килограмм взял. Хватит нам и позавтракать. Вижу, в городе замоталась, не до еды было.

— Да-а... Проголодалась, а в кафе... Цены! Не по моему карману. Про столо-вую, у кого спрошу, в ответ руками разводят. Как будто в городе одни миллионеры живут.

Пужинали. Оставшуюся еду Таня завернула в чистые салфетки, придвинула по-ближе к окну и прикрыла бабушкиным полотенцем.

— Игнат Григорьевич, расскажите что-нибудь о себе. Живем огород к огороду, а друг о друге ничего не знаем.

— Да, суетно живем. Все, как у роботов, с утра до ночи по программе расписано: работа, дом, постель, работа. Одна отдушина — полочется у самого забора тайга. С ней часто говорю как с мудрым собеседником. В свободные дни хватаю короба — и ну грибочничать да ягодничать. На болоте уж брусника созревает. Вернусь домой, опять в зиму наберу до краев бочонок, а в нем более пяти ведер.

— Как хранить-то?

— Она, Танюш, сама себя, словно девица, хранит. Не дается на погибель ни од-ному микробу. Заливаю доверху колодезной водицей, и так она до следующей осени, до самой последней горсточки целехонька будет. Вы — ягодничаете?

— У бабули в тайге свои потаенные фазенды. Там и черники полно, и клюквы с брусникой. Ее спросите. Вам-то она откроет много секретов. Уважает. Говорит, такие мужики, как Игнат Григорьевич, не пьющие и не гулящие, на сотню — один. Дедуля мой Прохор Степанович, земля ему пухом, до последнего дня самогонкой за жизнь цеплялся. Советы врачей и мои на смех поднимал, о лекарствах и слушать не хотел. Умер-то совсем не старым. Бабушке скоро шестьдесят, они одногодки, а деда пятый год как нет.

— Значит, Митрофановна — моя ровесница! А я думал, она намного старше меня.

— Жизни ее не позавидуешь, оттого и рано состарилась. Деда Прохор смолodu горячего норова был. Ее, круглую сироту с детства, за безмолвную рабу держал. А сам попивал да погуливал. О покойниках плохо говорить грешно, но деда только к старости образумился. Перед смертью у Бога прощения за грехи тяжкие просил, руки бабулины целовал... А Вы не такой!

— Что ты! Грешнее меня-то никого на белом свете нет.

— Неправда. Ваша жизнь в поселке у всех на виду. Никто худого слова не скажет. Вчера вечером почтальонка Нюся чушь про Вас понесла. Так бабуля и слушать не стала, за ворота выпроводила. Не терпит перегара. Дедовым, видно, по горло надыхалась.

Они надолго замолчали, размышляя каждый о своем. Татьяна принялась перелистывать свежую «Комсомолку». Потом, отложив ее, встала и внимательно посмотрела на лежащего Игната. Его лицо отображало тягостное состояние души.

Потом она о чем-то долго и сосредоточенно думала. Наконец-то, решившись, робко спросила:

— Игнат Григорьевич, а у вас внуки есть?

— Нет у меня никого, Танюша. Один я, как перст, один.

— А можно, я буду называть вас своим... дедом? У меня ни одного деда в родне не осталось. Кто погиб на войне, кто спяну рано умер.

Таня по-детски сложила красивые пухлые губки бантиком. На глазах ее бусинками выступили слезы. Вот-вот разревется.

— Дедо-ом?!

Игнат от неожиданной просьбы растерянно привстал, молча посидел на полке, обхватив кудлатую шевелюру руками. Потом спешно вышел в коридор, в каком-то забытье постоял у раскрытого окна, широко расставив ноги и едва удерживая равновесие. И только спустя какое-то время, словно вернув себя из далека, опять тяжело опустился на краешек Таниной полки.

— Что и сказать тебе, девка, не знаю.

В его бездонно глубоких черных глазах теплилась, боясь погаснуть, радость.

— Ты со мной, Танюшка, только через забор здоровствовалась да, посмеиваясь, поглядывала. Ничегошеньки-то обо мне не знаешь, какая быстрая река несла меня по жизни, о берега била. Не раз на опечек бросала. А ты зовешь в кровную родню! В деды!

— А что означает «опечек»?

— В Минино старые люди так отмели называли. Плавать там — волны нет, только бродом.

— Трудно вам жилось, Игнат Григорьевич? Я ж и в самом деле ничего не знаю про вас, но по душе вы мне. Как родной...

— Трудно, говоришь? Это с какой благости на себя смотреть. Раньше бы бесстыдно закивал головой. Теперь скажу, больно гонористый был. Норов свой тешил, впереди себя нес. Поперек его ничьего слова не допускал. Где там!

— По вас не видно! Бабуля — та и вовсе святым называет. Все в пример деду ставила.

Помолчали. Дождь прекратился, и первые звезды мерцали над горизонтом. Поезд с усилием преодолевал подъем, заметно сбавил скорость.

Игнат Григорьевич опять встал, подошел ближе к окну. Таня притулилась рядом.

— Молодец, Енисеюшка наш, молодец! Такой крутизной много водицы от Оби в свое русло заманил. Мудрен, батенька, мудрен. Оттого велик да могуч!

— По водному богатству ему в России равных нет,— оторвавшись от книги, живо откликнулась Татьяна.

— А сколько тебе лет, Танюш? В молодые-то годы я на спор угадывал: на год-два ошибался—не больше, а нынче не то... Старею.

— Скоро двадцать шесть. Школу окончила в семнадцать, а потом три года подряд в мединститут поступала. По конкурсу не проходила. А денег лишних в семье не было, чтобы взятки-то давать.

— Значит, можно с тобой обо всем говорить, как со взрослой?

— Разумеется! Сама за шесть-то лет вольной студенческой жизни досыта нахлебалась. Родным ничего не говорю, а вам скажу: перед последним курсом замуж собралась. После практики жениха хотела домой привезти родителям на показ. А он за три месяца моего отсутствия успел с какой-то медсестрой в больнице сойтись. Та забеременела и женила его на себе. Теперь не верю ни в какую любовь! Обман все это. Игра. Вот смотрю на вас и удивляюсь. Серьезный вы человек. И чистый. Мало таких мужчин.

— Не торопись, милая, на божничку садить! Давай-ка еще чайку попьем. Заодно и побеседуем.

Девушка уютно уселась за столиком, раскладывая домашнюю выпечку, а Игнат пошел за чаем. Вернувшись, похвалил проводницу:

— Зла на меня не затаила. Весь вагон чайком побаловала. Сейчас и нам принесет.

— Возьмите деньги, Игнат Григорьевич. Теперь я угощаю.

— Чего ты на самом-то деле! В жизни копейки от женщин не брал! Упаси и помилуй от сего греха!

— Ладно! Сочтемся! Бабулиными шаньгами! — смеясь, примирилась Татьяна.— Люблю их, с домашним творожком, на взбитых сливках. У-у! Пальчики оближешь! Откушайте, Игнат Григорьевич, на здоровье!

— Не откажусь, хотя надо бы в мои годы сторониться сдобы всякой, а я, как малый ребенок, падок на сладкое да скоромное.

Поезд покати с горки, теперь в сторону Оби, выбивая на все вкусы ритмы и подпрыгивая на стыках. «Рихтовка на этом перегоне хреновата. Огrehов наоставляли. Надо путейцам подсказать»,— подумал Игнат. И с острасткой поглядел на Татьяну.

— Ну, слушай, коль сама захотела. В те годы я работал плотником, и мы с Полей, Полиной Егоровной, доживали в семейном браке десятый год. Детей не было, хотя Поля последние годы непрестанно лечилась у городских докториц, ездила на курорты. Честно сознаюсь: чего-то я недопонимал что ли, но к малышам вовсе не тянуло. Это теперь весь дрожу, как младенца вижу. А тогда в башке дури всякой сполна было. Чужие бабы с ума сводили. Одним словом, не стойкий был, порченный... А Полина, вроде как, и не замечала моих измен. Но потом ей надоели мои бесконечные оправдания и вранье, вранье! Чего было клясться, дураку, если у всех на виду пьяные гульбища хороводил. И стали мы чаще и чаще ссориться с Полей, а мирились с трудом.

Татьяна настороженно притихла, не веря ушам своим.

— Игнат Григорьевич, а вы не оговариваете себя? Семь лет огород в огород живем, ни одной, простите, бабы не видали. Да и от неусыпных глаз деревни еще никто не спрятался!

— Так теперь все по-другому! Она, Полюшка-то, в сердце моем одна-одинешенька. Последние семь лет нет у нее соперниц. Кабы, мне, поганцу, так вот по всей жизни любовь сбергать, жили бы мы сейчас с Полей и радовались. Нет же! Метался ошалело от одной крали к другой. Устала Поля моя со мной, ох, как устала! Чужой стал для нее. Грязный. Родители ее и вовсе со мной здраваться перестали. Во, до чего достукался! Не мальчиком же, однако, был. Великовозрастным!

— Неужели правду разносит по селу пьяная Нюся?!

Она брезгливо отодвинулась от столика в угол полки, прикрыла высокие колени цветастой простыней и метнула в Игната из круглых синих глазищ пучок возмущенных искр.

— Нюся? Она и есть...тьфу-у...ходячая страница моей постыдной жизни. Не отмежеваться, не отмыться! Хоть и немало воды утекло.

— !!!

Щеки у Танюши горели, словно от жаркого костра. Она не поднимала на соседа глаз. Другой реакции от нее Игнат и не ожидал, а потому решил-таки закончить рассказ и этим навсегда отгородиться от юной соседки глухой стеной.

— Однажды Поля уехала на лечение в город, ее должны были положить дней на десять, а я остался хозяйевать. Тут-то и подловила меня развеселая почтальонка Нюся, приехавшая в Минино пожить у тетки. Честно скажу, бабенка она была ничего, смазливая, и, со слов деревенских знатоков, умелая в обращении с мужиками.

Поздним вечером Нюся сама, без моего приглашения, заявила в наш с Полей дом. В руках полная сумка бутылок самогона — первачка и закуси. Что было дальше и рассказывать-то противно. Пошло, как в срамном кино. Напились до поросычьего визга и остекленения. Завалились на крахмальные белые простыни...

А в это время Поля вернулась домой последней электричкой. Картину застала, хоть маслом по холсту пиши... Растормошила и вытолкала нас голых из дома, хлеща поганым венником. А меня и навсегда из своей жизни вытолкнула... Больше мы не виделись...

Утром я уехал к другу в город, а еще через два дня мы укатили с ним на БАМ. И там долго еще мучили меня кошмарными историями всякие Нюси, Муси, пока однажды не приснился мне жуткий сон. Ты знаешь, Тань, в самый канун моего юбилея. Пятерик стукнул...

Будто стою я в Минино на Караульной горе с отцом и матерью. Все с головы до ног в грязи. Родители плачут. Подвели меня к обрыву. Отец сердито стал трясти надо мной старый, знакомый с детства, сермяжный ремень, а мать говорит: «Просила тебя, сынок: подавись одним яблочком! А ты всякого дерьма в рот напихал. Горько здесь позор твой перед селянами несть!» И вмиг исчезли.

Проснулся я, будто роем пчел покусанный. В ту ночь больше глаз не сомкнул. Утром на перегон, на работу, не поехал, отпросился. Тогда, на БАМе-то, укладчиком пути работал. После сновидения нутро огнем горело.

Из общежития никуда не выходил. Лежал и, как книгу, перелистывал жизнь свою по годам и весям. Словам материным дивился: откуда про меня узнала и отцу доложила. Одним словом, стыдоба, срамота! На работе в передовиках хожу, а личную жизнь кобелю под хвост засунул.

На следующий же день написал заявление об увольнении. Начальник и слушать не хотел. «Мы тебя, говорит, ко второму ордену представили, а ты дезертировать вздумал! В самое горячее время — в кусты?! Легкой жизни захотел? Не дури, Игнат Григорьевич, называй истинную причину, а лучше бери кайло и догоняй товарищей. Скоро Тынду сдавать под ноль. Мне люди позарез нужны, каждый рабочий человек на вес золота, а ты сопли-нюни распустил».

Смуrow — такая фамилия у нашего начальника была, — никогда не кривил душой. Это все знали.

«Вот гляжу, — это он мне, — и по-мужицки люблюсь. Красавец, трудяга беззаветный. Руки золотые и силушка, как дар Божий, выделены. Что же случилось с тобой?! Тысячи мужиков во сто крат грязней тебя душой и телом, — и ничего, живут. Не спешат каяться. А ты, видите ли, прозрел. Очень ко времени! В святые заявление подаешь или куда выше? Смотри у меня, герой!»

А я ему: «Иван Петрович! Христом Богом прошу! Отпусти! Голова серебрится, а я по-человечески и не жил. Куражился. Окромья работы, светлого пятнышка во мне нет. Бобылем мыкаюсь: пьянки да гулянки. Чужие постели согреваю. Радости от них — ни на шишку кедровую. В мои-то годы любовными играми заниматься! Грех один. Сердце стал чутя. Видать, и его терпению пришел конец. Сам себе противен. Нет сил далее душу на потеху чертям выставлять. Не уеду домой, считай, с горки еще круче покачусь. Сжался ты надо мной, Петрович! Сам-то, небось, женат?»

«Ну ты даешь, Григорыч! Да я,— смеется,— со своей Зинулей ни на день не расставался. В первых палатках жили вместе. Ночами свое одеяло — ей, чтоб, не дай Бог, не простыла. Сам, бывало, полушубком накроюсь — и здоров-счастлив!— Вспомнил Петрович, расчувствовался.— Теперь-то что! В своем доме живем. Дочек растим. Поздние они у нас. Дорого достались... Приперло, говоришь? Понимаю». Вошел он, наконец, в мое положение. Понял, что совесть меня гложет за порученные воронью могилы отца с матерью, пропитый отцов дом...

А когда понял, за голову взялся: «Да, ты, Игнат Григорьевич, достал меня. Такое душевное многоборство дорогого стоит! Силен, ты батенька, силен! Ни водка, ни бабы твои, бесстыжие, не одолели тебя. Нет, не одолели! Прости, но поначалу я не врубился. Чуть по башке тебе не врезал! Думаю, чокнулся он, что ли, какими-то глупостями мозги мне компостирует. А дослушал до конца крик твоей проснувшейся души и все понял! Зауважал. Ей-богу, зауважал! Не припомню еще такого разговора с мужиками нашими, не припомню. Не хотел отпускать, но теперь знаю, не легкой жизни ищешь. Война с собою — самая кровавая и жестокая».

Долго мы тогда изливали друг другу душу. Иван Петрович рассказал о своих опечках да порожках. Подрался с дуру в студенчестве. В тюрьму угодил. Почти пять лет учебы, как и не бывали. Вышел — пришлось заново отвоевывать все, что в одночасье по глупости утратил: доброе имя, институт, доверие... Хорошо хоть, Зина его в нем не усомнилась. Дождалась и верность сохранила.

«Ладно, Игнат Григорьевич! — пожал он мне руку.— В деле — ты мужик геройский! Сильный духом! Верю, что и личную жизнь на рельсы поставишь. Цены тебе не будет. Может, и твоя Полина Егоровна простит тебя, подлеца эдакого, когда свидитесь. Буду весточки ждать. Новую свадьбу сыграем. Сгложусь за посаженного отца? А орден твой в Красноярск пришлем. Попросим железную дорогу с почестью вручить его».

И подписал мне увольнение с переводом в родные края.

Чай давно остыл, но девушка и не вспомнила о нем, задумчиво жуя ватрушку:

— И вы поехали в Минино к Полине Егоровне?

— Поехал?! Полетел птицей впереди локомотива. А Полюшка-то моя там давно уже не жила. И дом ее снесли под новую школу. Расстроился, конечно, отправился к нашему, деминскому. Что годы сделали с ним! Нерадивые хозяева не берегли, и сильно под разрушили его. От подворья тоже ничего не осталось. Только старые кедры стояли. Не поверишь, показалось мне, что они, завидев, протянули ко мне свои ветви. Остальные деревья, судя по пням, по надпилам, давно сгорели в печи.

Не вытерпел, постучался в слетевшую с петель входную дверь. Вышел пьяный мужик и назвался хозяином. Сергеем. Уже в начале нашего разговора я возмутился отношением к дому. Он не обиделся: «Тут нас, хозяев, говорит, перебывало, счету нет. А мне не до дома. Я из Чечни вернулся контуженый, больной на голову. Родители померли, да и я скоро вслед за ними отправлюсь. Если сочувствуешь, подкинь на бутылку. Со вчерашнего дня ничего не ел». «Зато пьешь, видать, беспробудно», — некстати съязвил я. «Да, пью! — заволновался он.— А что остается делать бедному солдату. Власть-то наша, новая, она что?! Пенсию отвалила — на лекарства не хватает, а тем более на жизнь по-человечески. Спасибо, хоть Нюська, посудомойка, подружка моя, подкармливает нас с сотоварищами обедками с буфетных столов, а то бы давно с голоду, как псы бездомные, подошли. Но и Нюскиной подработке конец приходит. Видите ли, пьет с клиентами и выпрашивает у них чаевые на бутылку. Так это из-за нас. Подумал и решил я свалить на сытую житуху к тетке в Богучаны. К рыбной Ангаре поближе. Там, хоть как-то, даст Бог, прокормлюсь, пока не помру».

«Слушай, Сергей! — говорю.— Продай мне дом! Это же мой родной дом. Родовой! Тут прадеды и дед на свет появились. Отсюда ушли на фронт и погибли в боях

два брата и сестра. В его стенах упокоились мои родители. А я после их смерти, без-мозглый, за бесценно потерял его. Но дело не в деньгах. Не могу жить без этой пяди земли. Как оторвался от нее, мотаюсь по свету, словно перекаати-поле, без корней и доли. Понимаешь ли ты это или нет?!»

Сергей оказался понятливым и отзывчивым. Не стал из меня жилы тянуть. «Нет вопросов, если есть, чем платить. В поселке, сам знаешь, с покупателями негусто. Вся работа — в городе, а для станции нужны специалисты в их железном деле. Не для меня, контуженного, ихняя дорога. Завтра же едем в райцентр бумагу делать. А я-то хотел, дурак контуженный, пустить квартиранткой Ньюску. Она бы со своими собутыльниками спалила твой дом начисто».

А я ему: «Ты только, вроде, ее своей подружкой называл, или я ошибаюсь?».

«Какой там! Это от нищеты несусветной. Не на кого мне, кроме Ньюски, опереться. За кого и за что воевал, если никому оказался не нужным?!»

Горько и безответно сокрушался Сергей. Жаль стало его безмерно, как сына вроде. По возрасту-то он мне в сыновья и годился. Пожал ему руку, протянул тысячу рублей. Как залог и доверие. «Ни фиги себе! — обрадовался парень. — Это же, считай, моих полпенсии! От пуза сосисок наемся. Запах мяса забыл. Во, житуха! Ты не беспокойся, — говорит мне, — не пропью. На подкорм пойдет. Отощал малость».

Не веря удаче с покупкой дома, отправился я в поселковую администрацию разузнать, куда выехали Полина и Неверовы. Там оказалась приятельница моей тещи, признала меня и сказала, что все Неверовы перебрались в Новосибирскую область. Никому из сельчан не писали, и адреса их ни у кого нет. Осталась одна надежда на паспортную службу. Послал запросы в адресные столы. Пришли два ответа, но оба не подтвердили прописку Полины и ее родителей ни в городе, ни в области.

Каким-то десятым чувством, Танюш, именно в эти горькие минуты уверовался я, что непременно найду Полю. Обязательно! А себе дал зарок: переломлю себя, навсегда отрекусь от былой жизни. Авось и Господь смилуется, сведет с Полиной путями, только ему ведомыми.

Недели через две оформил купчую на родной дом. Проводил Сергея к тетке и принялся за ремонт. Три месяца бамовского отпуска посвятил воскрешению отцовского дома. Все делал своими руками. И железнодорожникам спасибо. Поддержали, подбодрили. Начальник путейского участка предложил возглавить путейскую бригаду, закрепленную за станцией Снежница. В Минеино-то свободных рабочих мест не оказалось, я согласился...

— Ну, что? Что дальше?!

Татьяна, слушая, вновь придвинулась к столику, задумчиво поправляла стопку аппетитно дышащих шанег, обхватывала ладонями, будто грела их.

— А дальше жил и работал по соседству с тобой. Легких хлебов, Танюш, не бывает. Но БАМ научил многому. Там я прошел рабочие университеты. И знаешь, дева, потихоньку-полегоньку и тут вывел свою бригаду в передовые. Мужики почувствовали, что могут горы свернуть, если все с умом делать. Стали неплохо зарабатывать, реже тянуться к рюмке. Поначалу-то мой сухой закон многим не пришелся, иные и вовсе грозились уволиться, скандалили, а я никого не задерживал. Готов был написать на заявлении «не возражаю» в любое время. Стал загружать их работой, не оставляя времени на перекуры и чаепития. Так и втянулись в ритм. Любо-дорого. Теперь благодарят. Особенно их жены.

— А как с розыском Полины Егоровны? — кусала пухлую губку его соседка, то хмурясь, то веселя глаза.— Надоело? Бросили?

— Эх, ты, еще во внучки просилась! «Бросил...» Вот, еду к ней! Может и замужем за кем давно, но я зачем-то понадобился, коль призывает.

— Сама отыскалась?!

— Да! Нюся принесла вчера срочную телеграмму.  
— Боже мой! Радость-то какая!  
— Ой, Тань, не знаю, радоваться или главная печаль моей жизни еще впереди,— лицо Игната потускнело, посерело вмиг. Видно было, как болит, страдает от неизвестности его душа.  
— Что встревожило-то вас?  
— А ее слова: «Сообщи о приезде. Встретим». Стало быть, не одна будет встречать. С кем же еще, как не с мужем! Сыном-то или дочкой Бог нас не порадовал. Развода, стало быть, просить будут. А я ни за что не дам! Не дам. Полю любил и люблю. Только раньше большим дурнем был. На пятаки со шлюхами свое счастье разменял. Другим я стал. В ногах у Поли буду валяться, прощения вымаливать, но никому ее не отдам! Не отдам, и все тут!  
— Это как же, Игнат Григорьевич?!— вдруг возмутилась девушка.— Говорите, что любите свою Полюшку, а счастья ей не желаете! Вдруг она нашла свою половинку — и счастлива?! А потом... Потом вдвойне неправы вы.  
— Это в чем же? — нахмурился Игнат.  
— По закону-то если не было у вас совместных детей, то давно и без вашего личного участия в ЗАГСе развели бы...  
— Что же выходит, с дитем она? — непривычно дрогнул его густой ровный баритон.  
— Вполне может быть...  
— Н-да,— только и крикнул Демин, скребя лопатистой пятерней затылок.— Как же оплошал?! Оплошал...  
— Не судья вам, Игнат Григорьевич,— давясь подступившими вдруг слезами сказала девушка.— Вы сами себя наказали — и...  
— Ну, что ты, Тань? Успокойся,— Игнат осторожно погладил тяжелой, как камень, рукой вздрагивающую девичью спину.— Что плачешь-то?  
— Что-что! Говорю, досталось вам — врагу не пожелаешь! Не позавидуешь... Лишились любимой жены, по уши нахлебались грязи. Теперь-то чисты, но как... Не всякий мужчина на такой подвиг решится! Многие из них не считают измены предательством любви. Даже кичатся «победами».  
— Хватит героить меня! Скажи лучше: не раздумала в деды-то взять? В силе твое пожелание?  
— Да о чем речь! Конечно, в силе! Вы мой де-душ-ка! — прокричала она на весь вагон. И, вслушавшись в наступившую во всех купе тишину, повторила еще громче:  
— Мой дед! Мой!  
Игнат разволновался. Стоял, не зная, куда деть руки.  
— И ты для меня, Танюш,— внученька моя. Единственная! Будешь самым родным человечком!  
— Не шутите, Игнат Григорьевич?!  
— Нет. Совершенно от души.  
— Вот и я... искренне.  
Игнат пристально посмотрел на Татьяну. Она тоже отчего-то расплакалась, и ее крашенные ресницы источали мутные ручейки.  
— Ну-ну! Не разводи мокроту, коли радость у нас.  
И принялся тщательно вытирать ее щеки.

Забрезжил рассвет, когда поезд на полном ходу вкатился в городские окраины. Розоватые всполохи утренней зорьки игриво отражались в лужицах недавно умытых улиц, мокрых от росы фонарях, нескончаемых витринах магазинов, в каждом окошке серых многоэтажных домов. Вскоре они заиграли радужными, пляшу-

щими зайчиками в купе, где без сна и покоя всю ночь просидел Игнат. «Что еще замутит со мною судьба-судьбинушка?!» Но мысль оборвалась, едва мелькнув и смутив сознание: поезд, пытая и скрипя тормозами, уже останавливался у светящегося чистой и обласканного первыми лучами восходящего солнца перрона.

Пассажиры растянулись по коридору длинной змейкой, толкая дорожную кладь по мере продвижения впереди идущих. Открыв на секунду дверь в коридор, Игнат тут же захлопнул ее.

— Тань! Давай, выйдем последними, не люблю толкаться среди сумок и чемоданов.

А сам прилип к окну, надеясь отыскать среди встречающей толпы дорогое ему лицо. «Узнаю ли Полюшку, любушку мою...» И вдруг сорвался с места, распахнул купе, полетел птицей к выходу, расталкивая всех и извиняясь. В «полете» зацепился о длинную ручку чей-то спортивной сумки. Повалился на пол. Поднялся. И через мгновение слетел со ступенек тамбура. Не помня себя, оказался у ног статной седовласой женщины с малышом на руках.

— Поля! Неужто вижу тебя, моя Полюшка! Ну, здравствуй, родная...

Слезы рекой полились по его небритому, шершавому лицу, безупречно ухоженному саянскими свежими ветрами да сибирскими морозами.

— С приездом тебя, Игнат! — и подала ему на руки мальчонку. Тот, видя плачущую бабулю, насупился и тоже готов был сиюминутно расплакаться.

— Так что ты хотел сказать, Гришуня? Скажи скорее! — опередила она навернувшиеся на его черные звездочки слезы.

— Здраславуй, деда Игнат!

Малыш потрогал пухленькими ладошками развевающийся на ветру дедов чуб. Потом прижался к нему всем тельцем, заулыбался, обнял за шею и, поцеловав деда в мокрый нос, громко крикнул:

— Я Глиша Демин!

Игнат был на грани чувственного обморока, но сумел справиться с собою. Только со слезами ничего поделать не смог. Они продолжали омыwać осунувшееся, поблекшее за бессонную ночь лицо.

— Родные мои! Да как же мне горько жилось-то без вас-то. Почему, Полюшка, молчала ты, скрывая от меня такое счастье? А где сын с невесткой?

— Они работают за полярным кругом. В Талнахе, где-то под Норильском. Оба в прошлом году политех окончили. Металлурги. А мы с Гришей хозяйничаем.

— Ты ни разу не писала мне?

— Первые годы не писала. Обида душила. Потом тайно от родителей несколько писем посылала в Минино на имя начальника почты, чтобы письмо вручили тебе лично. Безрезультатно. А родители, царство им небесное, и слышать о тебе не хотели. Из-за нас они сорвались с родного гнезда и покоятся теперь на чужбине. Папа, умирая, наказывал не искать тебя. Но последние три года, сразу после рождения внука, вместе с сыном Егором ищем тебя. Не раз писали и в сельсовет, и на почту, и по адресу твоих родителей, где ты семь лет тому назад прописался, но ответа так и не дождались. Уж не знали, что и думать. А тут пришла мне в голову мысль написать в отдел кадров железной дороги. Спасибо им! Ответили, что работаешь бригадиром на станции Снежница. Там и живешь. У кого — не написали. Я позвонила Егору, и мы решили послать тебе телеграмму с уведомлением. Наш сын ничего плохого о тебе не слышал. Когда повзрослел, сказала ему, что характерами, мол, с отцом не сошлись. Такое и у любящих друг друга случается.

Игнат сразу же догадался, в чьи руки попадали Полюшкины письма в Минино, и какое обстоятельство заставило вручить ему телеграмму в Снежнице. Но сейчас ему было не до Нюсиных пакостей и ее женской мести: всего его, до последней живой

клеточки, переполняла радость встречи. Не иначе, по божьему повелению его повинившейся судьбе. Теперь ничто и никогда не отнимет у него этого счастья, не разлучит с ним, не обездолит.

Опомнившись, Игнат отыскивал глазами Татьяну. Она улыбалась, стоя на ступеньках тамбура.

— Дедуля! Я здесь! Прими вещи!

По лицу Полины пробежала быстрокрылая тень.

— А это кто с тобой? — спросила она омертвевшим голосом и поспешно забрала внука. Игнат бережно спустил со ступенек Татьяну.

— Знакомься, свет-Полина Егоровна, внучка Татьяна.

Видя неловкое и горестное смятение на лице Полины Егоровны, чуткая Татьяна тут же сняла ее нервное напряжение.

— Вы только не переживайте понапрасну! Игнат Григорьевич — мой названный дед. Вчера в поезде упростила его стать дедом. Моим родным дедулей!

Глаза Полины Егоровны, хоть и оставались еще по-прежнему взволнованными и влажными, но уже светились веселыми огоньками нового утра.

— Вот и славненько! И у меня появилась давно желанная внучка.

Еще не уверовавшая в счастливое завершение многолетней разлуки с любимым, Полина медленно выходила из душевного оцепенения. Придя в себя, поцеловала Татьяну и прижала ее к груди.

Снующие туда-сюда пассажиры быстрыми водами обтекали их со всех сторон. Но каждый, проходящий мимо, краешком взгляда успел запечатлеть в памяти сердца пульсирующий радостью, обнимающий все стороны света островок настоящего человеческого счастья.

Через неделю Игнат с Полиной и внуком вернулся в отчий дом. Свежевыкрашенный перед отъездом забор голубым пояском окаймлял ухоженное и цветущее подворье. На фоне раскидистых кедров, чудом спасшихся от бездумного топора, в объятиях огненно красной и бело-розовой герани обновленный дом смотрелся огромным янтарным самородком.

Игнат, держа Гришу на руках, подвел жену к околку молодых кедрят. Под порывом свежего ветерка они дружно склонили изумрудные пушистые головки к ногам хозяйки.

В тот же день Демин отослал Ивану Петровичу Смурову в Тынду обещанную весточку: «Срочно выезжай в Минино Я в полном порядке Ждем Все Демины Полина внук Григорий и твой навечно Игнат».

А вокруг по всей Караульной горе уже пылала багряными пожарищами золотая осень.

